

ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬШАНСКИЙ



ВЛАДИМИР КОРОТКЕВИЧ

NoSugar. Классика

Владимир Короткевич

Чёрный замок Ольшанский

«Издательство АСТ»

2026

УДК 821.161.3-31
ББК 84(4Бен)-44

Короткевич В. С.

Чёрный замок Ольшанский / В. С. Короткевич — «Издательство АСТ», 2026 — (NoSugar. Классика)

ISBN 978-5-17-179326-5

Сокровища рода Ольшанских окутаны тайной. Никто не знает откуда они взялись и куда исчезли. После смерти князя Ольшанского в семнадцатом веке остается только старинная легенда и замок с привидениями. Триста лет спустя при трагических событиях в руки историка-палеографа Антона Космича попадает древний манускрипт, на страницах которого он обнаруживает шифр, ведущий к сокровищам княжеского рода. Отправляясь в экспедицию, Антон и не подозревает, что старый замок хранит мрачные тайны, сгубившие не одного человека.

УДК 821.161.3-31

ББК 84(4Бен)-44

ISBN 978-5-17-179326-5

© Короткевич В. С., 2026

© Издательство АСТ, 2026

Содержание

Часть I	6
С чего мне, черт побери, начать?	6
Глава I	7
Глава II	14
Глава III	20
Глава IV	30
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Владимир Короткевич

Чёрный замок Ольшанский

В. К., которой этот роман обещал десять лет назад, с благодарностью¹

© Владимир Короткевич, текст, 2026

© Петр Жолнерович, перевод, 2026

© AquARTis, иллюстрация, 2026

© JoN-T, иллюстрации, 2026

© ООО «Издательство АСТ», 2026

Часть I

Грозные тени ночные

С чего мне, черт побери, начать?

С того кануна весны, когда за окном были сумерки и мокрый снег?

А что вам до прошлогоднего снега и сумерек?

Начать с того, кто я такой?

А что вам, в конце концов, до меня, обыкновенного человека в огромном городе? И зачем вам моя самохарактеристика?

Сразу брать быка за рога и рассказывать?

А какое я имею право на ваше внимание? То право, что вы заплатили деньги? Так мало ли за какие паршивые истории люди платят деньги?

Разбегаются мысли. Все случившееся – оно ведь касается меня, а не вас. И надо это, пока что, не вам, а только мне. Разве только мне? Да, пока я не расскажу всего, – только мне.

Я знаю, с чего начну. Поскольку, до поры, это лишь моя история, я начну с самооправдания. И лишь потом перейду к тому, кто я такой и что случилось в тот снежный и мокрый мартовский вечер.

И – чтобы вы не сказали «а что нам до всего этого?» – я обещаю, что расскажу вам самую удивительную и невероятную историю моей жизни. А – может, потому, что это было со мной, – мне кажется, что это даже самая невероятная история, которая только произошла на земле Белорусской за последнюю четверть века.

В конце концов, судите сами.

Различные нелепые слухи ходят о ней, о моем преступлении, о том закрытом процессе, на котором я якобы был то ли подсудимым, то ли свидетелем.

Насчет подсудимого – чепуха. Не ходил бы я на воле, если бы был подсудимым. А поскольку дело было связано с убийством, с несколькими убийствами, то так-то слишком уж быстро я, подсудимый, воскрес на этой земле. Но тень правды была в тени подозрения, которая временно легла на меня.

Свидетелем я тоже не был. Был я действующим лицом. Возможно, слишком действующим. Порой больше, нежели следовало. Совершал глупости – и совершал разумные дела. Путался и шел прямо к цели.

Но без меня «Ольшанская тайна» (номер дела со временем найдете в архивах) не была бы не только распутана, но не дошла бы и до середины развязки.

Ей просто никто не заинтересовался бы.

Тень слуха, тень сплетни тоже оскорбляет человека. И вот сейчас, через несколько лет, я могу, наконец, довести свой рассказ до конца, отдать вам, немного выстроив и скомбинировав, свои приведенные (преимущественно) в порядок записки. Никто не против, а меньше всего я сам. Распутан последний узел, все выяснено до определенности.

Что касается моей тогдашней (эта история слишком изменила меня) натуры, я ничего не правил. Пускай «Он» будет таким, как был. Это ведь «Он» тогда переживал, думал и действовал.

Как меняется человек! Все новое, и новое, и новое наплывает на душу, новые мысли, взгляд, страсти, тоска и радость – и сам удивляешься себе, тогдашнему. И жаль себя тогдашнего. И невозможно – да и не хочется – вернуть былое.

Я отдаю вам его, я отдаю вам себя на суд строгий и беспристрастный.

Глава I

Визит встревоженного человека



Фамилия моя Космич. Крещеный (это все бабка) Антоном. Отца, если хотите знать, звали Глебом. Мать – Богуславой. Занятие родителей до революции? Отец, окончив гимназию, как раз успел на Зеленого и Махно. Мать – года три как закончила играть с куклами.

Я даю вам эту развернутую анкету, чтобы не говорить долго. Анкету с добавлением милицейского описания примет. А вдруг что-либо наделаю. Особенно при моей склонности впутываться в разные приключения, на которые мне к тому же везет.

Мне тридцать восемь лет без малого. Старый кавалер, как говорила моя знакомая Зоя Перервенко, с которой у меня тогда как раз заканчивался – а пожалуй, таки заканчивался – короткий и, как всегда, не очень удачный роман.²

Этакий стары-ый кавалер, который из-за войны и науки не женился, а теперича уж поздно.

Жизнеописание этого старого кавалера подано пунктиром. На два года раньше, чем положено, окончил школу. Щенком с мокрой мордочкой. В сорок первом. Накануне. С выпускным балом, девчонкой в белом и вальсом до утра. Глупый, избитый, затасканный плохими писате-

² Кавалер (белорус.) – здесь и далее употребляется в значении «холостяк».

лями прием. Но тут так и было. К сожалению и к тоске. Так как в то утро две первые бомбы упали на почтамт и кинотеатр. Мы с нею были в кинотеатре, так что все это произошло на моих глазах.

Тряс перед военкомом свидетельство об окончании школы. Паспорта еще не было. Но поверили. Был... порядочная, словом, вымахала балда. Взяли.

И хлебнул я тут сполна. Родной городок. Отступаем. Над паровой мельницей единственный уцелевший репродуктор, и из него бравурный марш. И наровлянин³ Коляда, командир моего отделения, весь в пыльных бинтах, резанул по нему из автомата (мало их еще тогда было, едва ли не единицы).

Резанул, «чтоб не визжав, паразит».

Тут и закончилась моя возвышенная молодость. Тут, а совсем не тогда, когда мы прикрывали отход наших и Коляду убили, а меня, засыпанного землей, взяли в плен. Было это севернее Орши.

Я сбежал с эшелона под Альбертином. И тут же в Слониме едва опять не попал... Спас меня дядя Здислав Криштафович. Как только его ни хвалили: «приспешник, и подпевала, и...»

Немцы потом, в конце сорок второго, повесили его, хорошего человека, в деревне под Слонимом.

И хорошо хоть то, что уже десять лет стоит ему в той деревне памятник.

Вот так, друзья.

Партизанщина. Опять армия. Сильно изранен возле Потсдама. Демобилизован.

И начали меня тут в университете учить «уму-маразму». В пятьдесят первом получил диплом, в пятьдесят четвертом аспирантуру окончил. Удивляюсь, как от всей этой науки не стал непоправимым дубом. Диссертацию защитил по «шеснадцатому» веку. Деятели Реформации. Гуманисты.

Стал кандидатом, специалистом по средневековой истории, неплохим палеографом. Написал несколько десятков статей, три монографии – можно и доктором становиться.

Собираюсь. Вот-вот.

«Молодой талантливый доктор исторических наук».

ТЬФУ!

Особые приметы:

Светлый шатен, глаза синие, нос средний, рот – щелью в почтовом ящике на главпочтамте, рожа – смесь варяга с поздним неандертальцем, руки граблями, ноги длинные, словно у полесского вора.

Спортивные данные:

Сто девяносто один сантиметр роста, восемьдесят девять килограммов веса. Плавание – первый разряд, фехтование – второй – будь они неладны! Отношение к баскетболу? Мог бы и в баскетбол. Но на первой тренировке кто-то вытерся об меня потной спиной. Понимаете, не рабочий пот, не женский, а из резкого запаха, волосатого тела, едва ли не сплывающего жиром... Бросил это дело. Брезгливый уж слишком.

Футбола не люблю. В гимнастике – ноль. Не знаю, сумею ли пятнадцать раз подтянуться на турнике.

Вот, кажется, и все, что интересует людей.

Ф-фу-у!

А насчет того, чем дышу, что только мое, так это исследование прошлого. Кроме вышеуказанных работ, написал еще несколько, вроде... ну строго обоснованных, документальных исторических детективов, что ли.

³ Наровлянин – от райцентра Гомельской области Наровля.

Некоторые появились в журналах. Некоторые еще дожидаются: «Злая судьба рода Голыньских», «Убийство в Дурыничках» и т. д. Если вот эта история вас заинтересует, я, со временем, познакомлю вас и с теми.

Смешно? И правда, смешно. Научный работник и, вдруг, пинкертоновщина в прошлом. Мне тоже смешно. Зато – интересно.

И вот писал, писал я – скорее от желания победить чувство своей неполноценности, ведь писатель из меня никудышный, – эти произведения популярного теперь жанра, писал, избирая вместо таланта умение разобраться в путанице актов, факты и логику. Писал и не знал, что в тот вечер судьба – из-за одного встревоженного человека – впутает меня в настоящий детектив.

В тот противный мартовский вечер я как раз готовился к работе. Честно говоря, не терпелось дорваться до нее: многие месяцы я занимался не тем, чем хотел.

Для меня эти первые минуты – едва ли не наибольшее наслаждение в жизни. Методично разложить на столе вещи: чистая бумага – справа, слева – место для исписанной. Справа подальше – вымытая до скрипа пепельница. Возле нее нетронутая (обязательно нетронутая!) пачка сигарет. Две ручки заправлены чернилами. На подоконнике слева свежемолотый кофе в герметичной банке и кофейный аппарат. На столе ни соринки.

Сам ты только что побрился, принял ванну, обязательно надел новую чистую сорочку. Перед тобой белехонький лист лоснящейся бумаги, и зеленая лампа бросает на него яркий в салатном полумраке круг. Ты можешь отложить работу до утра – все равно внутренне ты подготовлен к ней. А можешь сесть и немедленно.

И черт его подери, что за окнами бесится и косо мчится мокрая пелена мартовского снега, что за ним едва видны уличные сиротливые фонари, съезженные тени прохожих, подвижный башенный кран невдалеке и красная игла телебашни поодаль. Ничего, что так тоскливо дрожат облепленные снегом деревья и так бездонно блестит под редкими фонарями асфальт.

Пуškai. У тебя тепло. И ты весь, и кожей и нутром, подготовлен к великой Работе, единственному определенному, что у тебя имеется. И все это – как будто ждешь самого дорогого свидания, а оно ждет тебя, и сердце замирает и падает. И нетронутый, целомудренный лист бумаги ждет первого поцелуя пера.

Звонок!

Я внутренне выругался. Но стол был убран, и ждал, и мог ждать до завтра, и, может, это было еще лучше, как лучше ждать дорогого свидания, чтобы дольше ощущать ликующую неутолимость. Лечь спать, зная, что «завтра» принесет первую – всегда первую! – радость, и проснуться с ощущением этой радости, и встать, и взять ее.

К тому же звонок был знакомым, «только для своих». Да и кто потащился бы куда-то из дома в такую собачью слякоть без крайней нужды.

Я отворил дверь. На площадке стояла, дрыгая, как журавль, ногами, худая тонкая фигура в темно-сером пальто, домотканом клетчатом шарфе, толстом, как одеяло, и в бобровой шапке.

Бобр этот от растаявшего снега, честно говоря, весьма напоминал кошку под дождем. Возвратился в родную стихию.

– Заходи, Марьян.

Он как будто юркнул в прихожую, хлопнул за собой дверью, вздохнул и лишь тогда сказал:

– А быти же тому дворцу княжеску богату, как костел, да и в дальнейшем фундовать ⁴ костелы.

Мы с ним любили иногда поговорить «в стиле барокко». Но в этот раз шутка у него не получилась: слишком безрадостной была улыбка, слишком неуверенно расстегивали пальто худые длинные пальцы.

⁴ *Фундовать (белорус.)* – инвестировать в основание, денежно поддерживать.

Это был Марьян Пташинский, один из немногих моих друзей, «ларник ⁵ ученый» и действительно один из лучших в стране знатоков архивного дела, известный, правда, значительно больше как коллекционер-любитель. Коллекционер почти невероятно сведущий и вооруженный глубочайшими знаниями, безошибочным вкусом, собачьим нюхом на фальшивое и истинное, стальной интуицией и чутьем на подделки.

Мы с ним любим друг друга. Он едва ли не единственный человек из научного мира, не относящийся иронически к моим историко-уголовным исследованиям. А я люблю его бесконечные рассказы о вещах, бумагах, печатях, монетах и всем таком другом.

Оба мы кавалеры (от него ушла жена, пустынный котик – актриса), оба на досуге ловим рыбу и спорим, оба принимаем друг друга такими, какие мы есть.

И вот именно потому, что я знаю его, как себя, я сразу сегодня заметил, что он не тот, не такой. С вопросами, однако, лезть не стал.

С аппарата как раз забубнил, запыхтел, полился в облачках пара черный, лоснящийся на вид кофе.

– Выпьешь?

– Разве водой разбавив? – Вид у него был виноватый и непарадный.

Разводить такую роскошь водой – это было преступлением, но я не протестовал: у Марьяна недавно был микроинфаркт.

– Нельзя мне, – сказал он. – А совсем без него не могу.

Быстро в наше время изнашиваются люди. Попробовал Маутхаузена и еще кое-чего. Неудивительно, что такое сердце в сорок лет.

...Он держал чашку длинными пальцами и больше нюхал, нежели пил, и ноздри его трепетали от наслаждения, как у Адама возле запрещенного дерева. И лицо у него было таким, какое в плохих романах называют «артистическим»: прямой нос, блестящие темные волосы, глубоко посаженные большие глаза...

Я любил его. Он был моим другом.

– Слушай, Антось. Меня, наверно, хотят убить.

Мне показалось, что я недослышал.

– Да. Убить.

– И стоило бы, – сказал я. – Такую святую Варвару упустить, отдать в руки этому торгашу от коллекционерства. Милютину Эдьке.

– Я не шучу, Антось.

Лишь теперь я понял, почему он сегодня «не тот». На его лице, обычно таком снисходительном и сердечном, дружественном и от природы добром, лежала тень. Тень постоянной тревоги, той, которая ни на минуту не отпускает, гнетет, давит, удушает все время сердце. Несильно, но все время. И я сразу поверил ему, ведь такое лицо у человека бывает лишь тогда, когда дело серьезное.

– Ну что ты мне тут окоlesiцу несешь? – спросил я.

– Ты мою Книгу знаешь.

Каждую свою новую книжную находку он называл с ударением – «Книга!».

– Те три. Переплетенных.

– Ну, видел. Год она у тебя.

– Год и два месяца... Ну... вот за нее.

Я неопределенно помнил ту книгу. Три книги размером в лист, взятые в один переплет из буро-желтой кожи конца XVI века. Ни вкуса, совершенно ничего. А книги действительно весьма ценны, только какой остопоп их собрал под одной обложкой: «Евангелие» 1539 года,

⁵ Ларник (старобелорус.) – главный над архивом.

изданное тцанием князя Юрия Семеновича Слуцкого, да тут же «Евангелие» Тяпинского ⁶, да с ним прошнурован «Статут» ⁷ 1588 года издания, тот, который под досмотром Льва Сапеги делался.

Три книги, переплетенные в один переплет каким-то варваром. Ценные книги. Но чтобы за них?!

– Мелешь ты...

Правда, «Евангелие» Тяпинского было необычайно редким экземпляром. Из набора были изъяты «буквицы», чтобы осталось пустое место.

Ясно, печать у Тяпинского была не той, как у Скорины. Бедная печать весьма бедного печатника. И какому-то богатому человеку это не понравилось. И он попросил одну такую книгу, только без «буквиц», для себя. А на пустых местах попросил какого-то миниатюриста нарисовать те буквицы красками и золотом. Чтобы книга выглядела побогаче. И художник это сделал. Со вкусом и с умением. Но чтобы человек чувствовал себя в опасности за какие-то три десятка миниатюр?

– Рассказывай, – попросил я.

Ведь я верил. Верил этим встревоженным глазам, слегка искривленному рту, беспокойным пальцам, нервной спине, напряженной, как лук (вот-вот выскочит зверь).

– Ходят за мной все время... За окнами снег подмят по утрам... И когда с работы возвращаюсь... Собаки нервничают, когда прихожу... Несколько раз замечал, что шатаются по пустырю какие-то темные личности.

– Ладно. Скажем, за книгу. Откуда им знать, что она у тебя?

– Совершил глупость. Выставка была в феврале в публичной библиотеке. Старопечатные книги. Из библиотеки, да и из частных собраний тоже.

– И что?

– А то. – Он все же глотнул остывшего кофе. – Я стою при своих и объясняю. Маячит поодаль какой-то человек. Высокий, лет на восемь старше нас, но еще не седой, темный блондин. Лицо буро-красное, словно загорел, несмотря на зиму. По типу и одежде – ну, не разберешь: то ли учитель деревенский, то ли председатель сельсовета. Руки как будто не очень натружены, но все же.

Марьян отхлебнул еще раз.

– И просит: не позволите ли взглянуть? И такое в его голосе почтение, такое неподдельное уважение к настоящей учености, так волнуется – даже краснеет, – что я позволил. Листает как человек. Даже слишком осторожно. За верхний угол страницы. Присматривался. Едва ли не читал некоторое. Приятно было, что существуют люди, которые хоть и не знают, а интересуются, любят.

Он сидел на тахте, на пестром лельчицком ⁸ покрывале, и в полумраке влажно блестели его глаза. Кофе он допил. Пальцами взял в замок свое узкое и сильное колено.

– И вот тут первое, что мне не понравилось. «И где ж вы это достали?» – «На чердаке у одного среди ненужных книг нашел». – «И неужто это продают и покупают? И вы, может, продали бы?» – «Я ищу... Не жалею ни ушей, ни глаз, ни ног. Покупать такие вещи у меня купила нет. А продавать – тоже не продаю. После моей смерти все эти вещи, за исключением некоторых, пойдут музею моего родного городка». – «А-а», – и какая-то такая скованность в его движениях. «То отчего бы теперь не продать?» Да и пошел... Дай – сигарету.

– Вредно тебе.

⁶ Тяпинский (Амельянович) Василий – белорусский просветитель-гуманист, деятель реформационного движения, один из первопечатников XVI века.

⁷ Имеется в виду третий «Статут Великого Княжества Литовского», написанный на старобелорусском языке.

⁸ Лельчицкий – от райцентра Гомельской области Лельчицы.

– Порошковое молоко пить вредно... Не понравился он мне под конец... Будто здоровенный какой-то зверь с металлическим зубом обнюхал все, разведаль и ушел... Следовало бы все это уже сейчас отдать. Да не могу. До сих пор не мог. Выше сил было живому разлучиться с этим. Ты помнишь, как я все это собирал. Как в Воронче под руины кляштора⁹ в укрытие замаскированное на чреве лазал, как от селедки спасал книги, как мне мой Никола достался, на котором дрова рубили, как меня под Слонимом в кремниевой шахте завалило, как я все это реставрировал, пылью дышал, от химикалий кашлял... Добро, все это от смерти спасенное, полюбуюсь только до лета, да и отдам. Опустеет квартира... И не сюда отдам, на пыль в запаснике, а в свой Руцк. Там они царями стоять будут. Опустеет квартира. Ну, да это мне ненадолго... Теперь уж скоро. Очень скоро.

– Плюнь.

– Нет, братец, знаю. Теперь скоро.

– Не курил бы.

– Не могу. Ограничиваю себя, а не могу.

Скомкал сигарету. Красив он, когда думает. Не то что моя варяжская харя. И глупышка ведь та проклятая баба, его бывшая жена. Ах, бабочка серебристая! Ах, сю-сю! Ах, знаменитый Иванский с геометрическими ляжками! Ах, Кафка! Ах, сцена! А сама ни в сцене, ни в Кафке ни в зуб ногой. Как скажет, то с поля ветер, из ... дым. Гордилась бы, что хоть один человек в семье умный. Я бы на ее месте такого в пантуфель целовал, как папу римского. Да она, слышал, и хотела вернуться, но не захотел он.

– Потом звонок, – продолжил Марьян. – Молодой интеллигентный голос (сейчас все интеллигентные). «Продайте». – «Не продается. Это моего музея в Руцке, а не мое». И еще похожий звонок, другим голосом. А потом едва ли не каждую ночь. «Продайте, продайте, продайте».

– Ты что, не знаешь, как телефонных хулиганов ловить?

– Пробовал. Звонили из автоматов в различных концах города. «Продайте! Продайте!»

– Набери единицу и положи трубку. Никакая зараза не дозвонится.

– Не могу. Каждую ночь жду звонка.

– Что случилось?

– У Юльки рак.

Юлька – это его бывшая жена. Вот тебе и имеешь пирог с бобами. Я молчал. Отступили куда-то плохие мысли о ней. Перед этим все равны. Мне было стыдно.

– Она об этом еще не знала, когда хотела вернуться. Лежит теперь где-то в Гомеле. Деньги тайно посылаю. Медсестра пишет обо всем. Звонит. Говорит: после операции легче. А я не верю. Думаю каждую ночь: вот звонок. И все кажется, словно я об этом знал и оттолкнул. Сейчас бы вернуть. Да нет, не простит.

Бог ты мой, он еще и слово «прощение» помнит, святой осел! И весь напряжен, и весь тревожен – черт бы тебя, собачьего сына, любил.

– Ну, об этом хватит. Возвращаться ей к человеку, который в путь выправляется, нечего. Излечилась бы только. – Лицо его вдруг стало решительным. – И жалеть о том, что не сбылось, не приходится. Но звонка жду. А вместо него – каждую ночь – они. Знаешь, тревожусь я.

Милый мой, я это с самого начала вижу. И то, что плохо. И то, что похож ты на единственную барочную скульптуру в моей квартире: на «Скорбящего» над твоей головой. Страшные глаза. И этот венок. Как я этого не замечал?! Завтра же выселю его в другую комнату.

– И... боюсь, Антось. Ты знаешь, трусом не был. Вместе были в разных передрыгах.

– Знаю.

⁹ Кляштор (белорус.) – католический монастырь.

– А тут паршиво. Подходит кто-то к окнам. Собаки урчат, как на нечистую силу. Какой-то запах однажды в прихожей.

– В милицию позвони.

– Из-за неясных подозрений? – Он вдруг встряхнул головой и улыбнулся. – Хватит уж тебе... А страх? Страх может быть из-за сердца. У сердечников это бывает, такие припадки неосмысленного, беспричинного страха. И у меня и прежде были. Не привыкать.

– Я ведь тебе и говорю. Брось. Обыкновенные барыги. Хочешь рюмку коньяка?

Тревога все-таки не оставила его.

– Может быть. Но почему книга? Почему одна эта книга? Почему не мой Никола? Не грамота Жигимонта ¹⁰ мытника ¹¹ – там ведь один ковчег чего стоит? Почему эта книга?

– Не знаю. Давай посмотрим.

– Вот я и хотел. Да не рискнул нести. Темно. – Он встал.

– Ну, будь здоров, братец. И плюнь на все.

– Ты... заходи ко мне послезавтра, Антось. Рассмотрим. Я хоть и архивный работник, а палеограф ты лучший.

Я решил, что хватит. Надо переходить на обычный тон. Достаточно этого, гнетущего, достаточно. Ведь почти любому страху, если он во плоти, мужчина может размозжить нос.

– Так что, преосвященный Марьян?.. И псы урчали на силу вражью, а он, бес, в сенях, искушая преосвященного чистоту, вонял противно...

– Слово произведения доктора наук исторических Цитрины.

– Заврался, какие это «исторические»?

– А «музыкальная» ведь есть? То-то же... «Цитрины» и подобных ему.

Мы рассмеялись. Но все равно я чувствовал, что на дне его глаз тревога.

...Он ушел, а тревога осталась. Я подошел к окну и смотрел, как он идет через улицу в косых, стремительных струях снега, смешанного с дождем.

¹⁰ Жигимонт – белорусская интерпретация имени Сигизмунд.

¹¹ Мытник (белорус.) – таможенник, сборщик мыта.

Глава II

Подъезд кавалеров



Утром меня разбудил залиvistый крик петуха, а потом душераздирающее, надрывистое визжание поросенка: видимо, несли в мешке.

– Не хочу-у! Пусти-и-те! Пусти-ите!

Как в деревне. И каждое воскресенье мне вот так приятно. И это одна из причин, почему я люблю свой дом.

Приятно это сказать: мой дом, мой подъезд, мой двор. Особенно вспоминая войну, и как потом намучились с отцом по чужим углам, и как потом жили в одной комнате коммунальной квартиры с коридорной системой. А потом один. И вот два. И тут отца потянуло доживать в свой городок к своей сестре, а моей тете.

– Не могу. Как будто бы сделал свое дело. А тут еще каждое воскресенье петухи, коровы, кони – ну зовет что-то, и все. Если бы еще не район этот проклятый. А тут вижу – кабанчик, пестренький. Я ведь, казалось бы, горожанин, я ведь пахать не умею. А тут – ну хоть бы лопату в руки... Сирень зазеленела, земля пахнет, жирная такая. А на крыжовнике зеленое облако... Поеду к Марине. Там сад, будем вдвоем копошиться. А ты – только теперь, смотри, женись.

Он был прав. Даже мне нет мочи усидеть на месте каждое воскресенье, когда через тракт от моего дома открывается рынок живности: кони, коровы, свинья, золотые рыбки, овцы, голуби, кролики, лесное зверье, птицы, собаки и все живое.

До того как огородили квартал – дядьки с возами стояли себе на тротуарах, а здоровущие матеры, отвалив соски, лежали, милые, на газоне.

Однажды мой друг Алесь Гудас (а он живет на первом этаже) в воскресенье сидел за письменным столом, а прямо под окном его кабинета остановился воз. Дядьки что-то продали и решили замочить куплю-продажу. С горлышка. Увидели его и начали крутить пальцами у лба. И вправду, дурак немоченый: люди веселиться собираются, воскресенье, а он работает. Алесь покрутил пальцем в ответ, принес и подал им в окно стакан. Тогда они первому налили ему. Жена потом едва с ума не сошла: откуда выпивший? В домашних туфлях не выходил, в доме ни капли спиртного, а он смотрит и не слишком разумно улыбается.

Хороший уголок! Жаль, если рынок куда-либо перенесут. И, главное, в двух шагах от «деревни», от того уголка, занесенного на булыжную мостовую, улочка, дальше бульвар и шумный город. И дома и замужем.

С той поры как я не хожу на работу и путаю дни – крик петуха в воскресенье, сквозь доброе угасание сна, для меня как дополнительный календарь.

Осенью я защищаю докторскую. Два месяца законного отпуска да три неиспользованных за прошлые годы. Я слишком трудился, слишком-слишком много трудился, чтобы вот так, один раз, вволю побездельничать и делать то, что мне хочется. Книга вышла. Почти до сентября я свободен. Бог мой, никаких библиотек, никаких архивов, если только сам этого не захочу!!!

Я считаю, что короткий отпуск – глупость. Не успеешь приехать, размотать удочки, подышать – на тебе, собирайся назад. Не стоит и пачкаться.

И вот теперь я отдохну. Впервые, может, за двенадцать лет. Хорошо – сбросить с тахты ноги, отворить в холод окно, промерзнуть, сделав два-три неуклюжих упражнения, помахать руками и ногами (заменять настоящую работу, от которой звенят мускулы, гимнастикой – чепуха собачья и бред сивой кобылы). Хорошо, когда струи воды стегают по плечам и спине! Хорошо, когда кожа краснеет от сурового полотенца! Хорошо, когда трескается о бок сковородки яйцо, и верещит ветчина, и чернеет кофе в белой-белой чашке!

Хорошо – отворить дверь на площадку своего третьего подъезда, «подъезда старых кавалеров».

А, все равно. Если уж надоедать, так надоедать! Если уж описывать людей, так описывать. Ведь почти каждый из нашего подъезда играл кое-какую роль в нашей истории.

В моем доме пять этажей и четыре подъезда. Мой подъезд третий. Зовут его «подъездом старых кавалеров» недаром. По несказанной иронии судьбы все мужики в нем (о незамужних девушках не говорю) либо неженаты, либо вдовцы, либо... Но это грустная история, и о ней не стоит в такое утро, когда снег растаял, когда воздух бодрый, а небо по-весеннему несмело и пронзительно голубое.

На каждом этаже у нас по две квартиры. Начну, конечно же, с моего этажа. Он самый важный не только в этом повествовании, но и вообще. Земной шар вертится вокруг эгоцентризма.

Дверь в дверь со мной живет Адам Петрович Хилинский, который иногда приглашает меня сыграть в шахматы и взять рюмку коньяка. Прозвище соседа – «полковник в штатском» (мое почему-то Тоба, так называют нас все фразеры двора).

Кто он? Не знаю. И знаю это лучше других, ведь он несколько раз, зная о моих «исторических детективах» и, возможно, читая их, рассказывал мне различные случаи с целью, что вот бы мне то и то написать да сделать, так как пишут и делают неинтересно и мало. А я не мастак на такие дела, так я отмалчивался.

Я смотрю на него не так, как соседи. Мне он кажется таким «Абелем в отставке».

Может, так оно и есть в самом деле? Кто знает? Я его не спрашиваю.

И он не скажет. Знаю только, что квартиру – на худшую где-то обменял. «Что мне, я один. И этой бы слишком много, если бы не книги и фотки».

Это единственный мой друг на подъезд. Не друг, собственно, а приятель по шахматам, по уединенной мужской выпивке. Нечасто только. Ведь метод жизни у него странный. Бывает, что днем спит, а по ночам черт знает где. Иногда месяц-другой нет дома. Заглянет на час – и опять нет.

Я не расспрашиваю о его работе, если сам не вспомнит чего-либо. Во-первых, не знаю, о чем можно спросить. Во-вторых, не знаю, на что может ответить, и не хочу ставить человека в неловкое положение. В-третьих, вообще не люблю никаких учреждений, даже больниц. Кошмар! Лица больных, плевательницы, запах. Еще с довоенного детства, с кроваво-красного плаката в зубной лечебнице.

Лишь на квартире я могу завести с кем-то знакомство. На службе человек не сам собой, не та личность, которая только и интересуется меня.

Даже со своим шефом я разговаривал лишь тогда, когда он пригласил меня в гости.

Так и тут. Пожалуй, я псих, но что поделаешь? Но ум у него живой. Сам мог бы писать, а не подбивать меня.

Высокий, седой, весь какой-то весьма неславянский – таких только в иностранном кино увидишь. Англичанин? Норвежец? Но похож на очень вытянутый треугольник – плечи широкие, а бедер почти совсем нет, и ноги при ходьбе, чтобы не разрушить данного треугольника, всегда ставит близко друг к другу.

Одет всегда безукоризненно, да еще и с длинной трубкой в зубах: «Мистер Смит на Бобкин-стрит». И только на охоте, или рыбалке (ездили несколько раз), либо в квартире, где нет посторонних, все это заменяется типично славянской, мало того, белорусской разболтанностью. Сон как придется: под кацавейкой возле костров, пятьсот раз «“лисицу” поймал», истоптанные чеботы – заплатка на заплате. И все равно, даже в лохмотьях, – щеголь, ничего не скажешь. И азартен, зараза. Однажды, когда бестолковая собака искала в другой стороне, прямо сам, во всей амуниции, с лодки в воду прыгнул. За уткой.

Знакомство наше началось с болтовни во дворе. Говорили все что-то о человеческих увлечениях. Он молчал, ну я и решил спросить его, а какое у него хобби.

– Бабочки, – ответил он не только серьезно, но и угрюмо.

– Мотыли?

– Я с вами по-белорусски разговариваю. Женщины.

Ничего себе манера шутить. В самом деле хобби его – гравюры и книги. Часть пропала в то время, когда хозяйство вела одна сестра, но даже оставшееся удивляет. Богатейшее собрание книг: история права, философия, биология особенно. Хребта данного подбора я, честно говоря, так и не сумел нащупать.

Потом библиотека его пополнилась, да еще появились на стенах различные египетские, индонезийские, африканские вещи.

Сестра и сейчас приходит со своей квартиры, помогает вести хозяйство, приводит и свою домработницу. Раз в две недели. С остальным управляется сам. Он это умеет лучше, нежели я. Устроиться всюду с максимальным комфортом.

О себе говорить он не любит. Однажды только выплыло кое-что наверх. Смотрели мы «Иваново детство». Гениальный фильм. Дело, видно по всему, происходит в Беларуси. И мальчик из Беларуси. Вот там этот мальчик и задает вопрос, что-то вроде: «А что такое Тростенец¹², ты знаешь?» Тут я и почувствовал, как его передернуло.

¹² Тростенец – крупнейший концентрационный лагерь в Беларуси во время немецко-фашистской оккупации.

Ну, о нем пока что хватит. Начнем сверху. На пятом этаже три мастерские художников. Кто они дома – не мне судить, но, по моему мнению, в мастерских своих все художники – кавалеры, за исключением, возможно, полностью честных и дураков, что, может быть, одно и то же. Когда мимо моей двери катится запоздалый вал спора или утром тихо позвякивает стекло в чемодане, я знаю: это альфа и омега моих художников.

На четвертом этаже живет вдовец Кеневич с подростком-сыном, не слишком интересный человек, а напротив него, с мамой, Ростик Грибок, человек двадцати одного годика.

Грибок из одного ведомства с приятелем Хилинского, полковником уголовного розыска Андреем Арсентьевичем Шукой, который часто заходит к Хилинскому играть в шахматы (тогда тот из нас, кто пришел позже, вынужден копаться в библиотеке). Еще они ездят вместе на охоту и рыбалку, и порой к ним присоединяюсь я. Так как мы в чем-то похожи. И охота, и рыбалка, и надобность вечно ни с Днепра, ни с поля остроумничать.

Так что у нас полное доверие и относительное знание друг друга.

Хилинский сам пожелал жить именно в этом доме и Грибка (просто любит его) переселил за собой. А может, и просто так.

Грибок никакой не грибок, а здоровенный грибище, хотя и совсем молодой, свеженький, полнокровный. А все-таки грибок. По твердым (так и хочется мне всегда ущипнуть) щекам, по темно-коричневым глазам, по общему ощущению чистоты, боровой ясности и легкой, по возрасту, ну... бездумности, что ли.

Ну, давайте спускаться с моей площадки вместе со мной. Легкое эхо шагов по ступенькам.

Второй этаж. На его площадке живет врач, к которому я, слава богу, еще никогда не ходил и ходить не хочу и вам никогда не советую, и пускай он вообще останется без работы и гладиолусы разводит. Ведь он психиатр и, кажется, работает в сумасшедшем доме. Когда я встречаю его, мне всегда хочется запеть московскую песенку:

*Балалаечку свою
Я со шкафа достаю,
На Канатчиковой даче
Тихо песенку пою.
Вижу – лезет на забор
Диверсант, бандит и вор,
Я возьму свою гранату
И убью его в упор.*

Комплекс это какой-то, что ли?

У этого человека в двери есть глазок, который вставила одна из женщин, иногда приезжающих к нему. Мне все время кажется, что это он побаивается массового визита своих пациентов на дом. Имечко его, к вашему сведению, Витовт Шапó-Каллаўр-Лыгановский. Если бы такое мне – я бы женился на Жаклин Кеннеди. Нет, не женился бы. Ведь на ней, как говорил один мой знакомый, уже «женились две эти старые балканские обезьяны. А я лучше женюсь на... Мерлан Мурло».

Однажды шли вместе к троллейбусу, и как-то разговор перешел на то, кто откуда, на имена и т. д.

«Черт его знает, откуда такое, – сказал он. – О своем прадеде только и знаю, что имя. Интеллигентный. Пожалуй, из лапотной шляхты. Гонор, наверно, вот и вся музыка. Денег нет, так давай побольше фамилий».

А вот и он сам. Исключительно сложен, с породистым бронзовым лицом, словно средневековый кондотьер с медали. Волнистая грива серебряных волос, рот с твердым прикусом,

серые глаза смотрят пристально. Редко мне приходилось видеть более красивое мужское лицо. И более умное тоже.

Разговаривает с молодым человеком, своим соседом. Тот в меру приличный, в меру статный, в меру миловидный. А вообще, о нем только и можно сказать, что в его руке мусорное ведро.

– День добрый, сосед.

– Денечек и добрый.

Первый этаж. Слева на площадке квартира, которую или киностудия, или театральный институт, или балетная студия (так и не понял что, а спрашивать неудобно) сняла под общежитие для четырех своих девчушек. Там часто песни, веселье, гитара. По вечерам они с парнями какими-то стоят в подъезде возле радиаторов, и утром там много окурков. Когда я иду, девушки проводят меня глазами. Достаточно часто. И я с таким жеребьячьим весельем дрыгаю мимо них ухарскими ногами.

Значит, пока что я еще ничего себе. Хо-хо!

Девчата красивенькие, с пухлыми ротиками, с глуповатыми еще, словно у котят, широкими «гляделками», с пышными копнами волос. Брючки обтягивают формы, со временем обещающие стать весьма приличными.

Красивые. Только не для меня. Мне без малого сорок, а из них самой старшей, на глаз, двадцать – двадцать один. Связаться? Чтобы через десять лет рога наставили? Такое удовольствие оставляю вам. Стар я для них. Порой, когда вспомнишь бомбы, и плен, и все последующее, так даже кажется – и вообще старик.

Справа на первом этаже двери нет. Там вход в подвал. Справка любителям точных цифр.

Квартира № 22 – девичье-цыганская богема (масляное масло).

Квартира № 23 – интересный молодой человек с ведром.

Квартира № 24 – Витовт-Ксаверий-Инезилья-Хосе-Мария Шапо-Каллаур-Лыгановский, мастер по человеческим мозгам с медным лицом Скалигера ¹³ Кангранде.

Квартира № 25 – азартный полковник с Бобкин-стрит.

Квартира № 26 – я со всеми своими комплексами.

Квартира № 27 – Кеневич со своим долговязым отпрыском.

Квартира № 28 – поляночка с Грибком. «В лугу на одной ноге...»

Пятый этаж – три мастерские неженатых художников.

Двор. Обыкновенный новый двор с молодыми деревцами, скамейками, газонами, выбитыми, как бубен, футбольным мячом. Правда, во дворе от снесенной окраины остались двухэтажный домик, дуб, заросли ясеня, пара груш да несколько осужденных яблонь и вишен.

Дворник Кухарчик приветствует «драстуйте». Этаким себе оболтус с каляным лицом и короткими волосами. И всюду он лезет, дает советы, рассказывает. И все ему надо знать, а меня он почему-то считает самым умным человеком улицы. Меня это немного оскорбляет: почему только улицы. Но его не собьешь, и он появляется за спиной (обладает свойством и умением возникать как из-под земли) и задает вопрос. Чаще всего впечатление после вопроса – словно проглотил горячий уголек, одновременно получив удар под ложечку.

– А китаец китайца в лицо отличит?

– А вот интересно бы знать, Антон Глебович, каков смысл в кипарисах, растущих на юге? Сегодня это:

– Не знаете случаем, как «дворник» по-латышски?

– Setnieks, – «случаем знаю» я.

– Интересно, и там и там почти одинаково.

¹³ Скалигер (1291–1329), по прозвищу Кангранде (Большая Собака), – глава партии гибеллинов и правитель Вероны. Его чертами Данте воспользовался при обрисовке облика Адзалино в «Божественной комедии» («Ад», песня 12).

И он работает и думает.

Выхожу со двора. Улица. Не «деревенская» сторона, а «городская». Автобусы, дома, реклама, марсианская тренога телебашни поодаль. Шум городского потока, упрямый и неублажимый.

И как последний аккорд того, что такое мой дом и мой двор, табачный киоск, в котором сидит старый знакомый, «бригадир Жерар», как его называю я, Герард Пахольчик, которому я активно помогаю выполнять план.

Он и вправду, как герой, сидит в своей будке. Прямой, среднего росточка, усатый. В детских, широко раскрытых глазах наив. И схожесть с ребенком подкрепляет желтоватый пух на голове.

Этот тоже из любопытных, как и Кухарчик. Но тот из «суетливых» любопытных. А этот «любопытный философ». Тот лезет, подозревает, сомневается, этот – сидит на троне и спрашивает въедливо и серьезно. Тот видит ненужное и несущественное, этот – «зрит в корень». Тот лишь слушает – этот еще дает и советы с высоты опыта, приобретенного в беседах с умными людьми. А глаза следят и сверлят и видят все.

Но обоим свойствен широкий диапазон интересов. Только первый интересуется смыслом кипарисов, которые не дают ни плодов, ни древесины, а другого интересует политика в Непале и вообще все от космических перелетов и способа варить малиновое варенье – и вплоть до теории красного смещения и летающих тарелок, которые он обязательно называет НЛЮ (неопознанный летающий объект).

Покупаю пачку «БТ». Смотрит пристально, словно наш разведчик в ставке Гудериана.

– Странно вы как-то сигареты открываете. Тут потянул за ленточку, да и... А вы ножницами. И только уголок. И вот уж сколько месяцев смотрю – всегда только правый уголок. Можно ж вот за ленточку, да и крышку снять.

– Я, пан мой высокочтимый Герард, из тех, которых в плохих старых романах называли «старый кавалер с устойчивыми привычками».

– «Устоявшимися привычками», – переводит начитанный Герард. – Да почему ж уголок?

– Портсигаров не люблю. А снимать всю крышку – табака тогда в карман натрясешь.

– Да почему ж правый?

И действительно, почему правый? Почему я всегда первым обуваю левый туфель?

– Буквы туда смотрят.

– А-а.

Глава III

Дамы, монахи и паршивый белорусский романтизм



В ответ на звонок из глубины квартиры долетел, приближаясь, пушечный собачий лай.

– Гонец к скарбнику Марьяну, – сказал я.

Два тигровых дога, каждый с добрую телочку, узнав меня, со свистом замолотили толстыми у корня хвостами.

– Эльма! Эдгар! На место, слюнтяи паршивые!

– Вкусный, вот и слюнтяи, – подшутил я.

Квартира у Пташинского – это черт знает что, только не квартира. Старая, профессорская, отцовская, чудом уцелевшая в этом почти до основания уничтоженном городе.

На окнах ажурные решетки: библиотека папочки была едва не самой богатой частной библиотекой края (не считая, конечно, магнатских). Чудом уцелела в войну и библиотека, но сынок сплавил ее во всем, что не касалось истории, – государству, чтобы освободить место своим любимым готическим и барочным монстрам. Монстры выжили отсюда не только книги, но и... В конце концов, я неудачно пошутил.

Марьяна бы к нам вместо девушек. Был бы целиком кавалерский подъезд. Но он отсюда не уедет, ведь здесь хватает места для его кукол, хотя квартира и неудобна: бывший загородный дом, к которому сейчас подползает город. Четыре большущие комнаты с потолком под небо.

А за окнами пустырь – дно бывших огромных, давно спущенных прудов и берег с редкими купами деревьев, за которыми просматриваются здания тепличного хозяйства.

С другой стороны к дому примыкает заброшенное кладбище. Его врата в стиле позднего барокко видны, если подходишь к дому по наполовину уничтоженной аллее высоченных лип.

В комнатах настоящий Грюнвальд: летают под потолком ангелы, вскидывают кресты из лозы Яны Крестители, а Яны Непомуцкие несут под мышкой собственные головы, словно арбуз в трамвае. Юрий с выпученными от ужаса глазами попирает ногой цмока¹⁴, рыдают уже триста лет Магдалины. Иконы на стенах, иконы, словно покрытые ржавчиной, по углам, и иконы, распростертые на столах, свеженькие, словно только из Иордани, улыбаются человеку, который их опять воссоздал. Пахнет химией, деревом, благоуханной старой краской. Золотятся корешки книг. Скалят зубы грифоны, похожие на грустных кур.

И все это чудо как хорошо! И среди всего этого, созданного сотнями людей, две собаки и человек. Лучший мой друг.

– Есть что-нибудь согреться с мороза, иконник?

– Оттепель сегодня, золотарь, – ответил он.

– А с оттепели есть? – спросил я.

– С оттепели есть сухие теплые батареи... Вот.

– Законы предков забываешь? – не отступал я с угрозой.

– При Жигимонте лучше было, – сказал он, подавая на низенький столик начатую бутылку виньяка, лимон, «николашку», тарелку бутербродов, сыр и, почему-то, моченые яблоки, – однако и король Марьян немцев не любил, и ляхов, и всех других, а нас, белорусцев, жалел и любительно миловал.

– Нача-атая, – затметил я.

– Будет и полная.

– Так и ставил бы.

– Знаешь, что считалось у наших предков дурным тоном?

– Ну?

– Блевать на середину стола. Вот что считалось у наших предков дурным тоном. Древний кодекс приличия. «А нудить на середину стола – плохо и погано и негоже есть».

– На край, стало быть, можно?

– Ничего не сказано. Пожалуй, можно. Разрешается. Что ж тут страшного?

– Неуч ты. На свой край разрешается. На чужой, vis-a-vis – ни-ни!

– Приятного вам, – пожелал я.

– Сам начал.

Себе он налил на донце.

– Ты не сердись, – словно оправдываясь, сказал он, и лишь теперь я заметил, что на его ногтях голубой оттенок. – Немного – это не вредит сердцу. Наоборот, полезно. Все врачи говорят. Кроме того, мне скоро ничего не будет вредно.

– Ну-ну, – не выдержал я.

– Сам момент, пожалуй, не страшен, – задумчиво продолжал он. – Ожидание – вот что дерьмо собачье. Собачье предчувствие беды.

Эльма и Эдгар внимательно смотрели на него, порой переводя на меня взгляд.

– Как вот они. Представляешь, сегодня под утро были около часа. Никогда в жизни такого не слышал. И не дворняги ведь они, а псы цивилизованного века... Удастся ли нам с тобой еще в рыбку? Поедем, когда чистая вода будет?

– А как же.

¹⁴ Цмок (белорус.) – змей, дракон.

Всю жизнь буду корить себя за свой тон во время того разговора. Словно чувствовал, как человек внутренне вздыхает: «О-ох, пожить бы», а сам в это время отвечал, тоже внутренне: «Не ной, парниша, все хорошо».

– Показывай книгу, – предложил я.

Мы держали том на коленях и медленно листали страницы. Подбор этих трех переплетенных в одну книгу был странным, но мало ли странного совершали люди той поры. Их логика трудно дается нам. Переплел ведь неизвестный монах в одну тюрьму из кожи: «Сказание об Индии богатой», «Сказание о Максиме и Филлипате» и «Слово о полку Игореве».

«Евангелие» Слуцкого. Очень редкая вещь, но ничего особенного. «Статут» 1588 года. В самом деле, первая печать, насколько я мог судить (сколько бы «Статут» ни перепечатывался – год ставили тот же, 1588-й). Но с инициалами «Евангелия» Тяпинского было действительно любопытно.

Печать этой книги отличалась строгостью. Каждый лист жирно, поперек, словно перерезан пополам. На верхней половине страницы старославянский текст, на нижней – старобелорусский. Сухой строгий шрифт, ничего лишнего. И вдруг, среди этой протестантской пустоты, я увидел чудо – заставки и инициалы, цветущие маками, серебром и золотом так, что глазам становилось больно. Цветы, стебли, воины, кони – все стремилось в ярком, вычурном, радостном полете со страницы на страницу.

– Язычник, – заявил я. – Откуда такое чудо?

– Вот надпись.

Надпись на обороте обложки была, видимо, из чернильных орешков и камеди: рыжие чернила выцвели. XVI–XVII века. Самый канун яростного натиска Польши. Но я не мог оторвать взора от цветущего заливного луга, и мне не хотелось вглядываться в путаную рыжую вязь.

– Ты не ответил. Так все-таки откуда?

– Ольшаны.

– Что-то слышал, но смутно. Где?

– Исто-рик. Местечко... Километров тридцать от Кладна... Князьям Ольшанским принадлежало. Гедиминовичи. Очень древний белорусский род. Многочисленные имения по Неману и Птичи, несколько собственных городов. Постоянно высокое положение. Подкрепляли тем, что королям города дарили.

– Помню, – пришло мне в голову. – Это ведь один из них Голаск – городок Жигимонту Августу «подарил», а тот его «подарил» Яну Хадкевичу.

– Так.

– И это один из них в междоусобицу Свидригайлу в плен захватил.

– Из тех, – подтвердил Марьян с некоторым удовлетворением, что вот, мол, и друг не ногой сморкается. – А те Ольшаны их майорат и испокон веков им принадлежали. С бортовыми деревьями, и деревнями, и речками, бобров чтобы загонять.

– И каждого пятого бобра себе, – начал хулиганить и я, – а остальных пану или себе подчревьё от каждого бобра.

– Гля-ади-и ты! И «устав на волоки» знает. Начитан, холера!.. Ну так вот. Книгу эту я нашел в Ольшанах на чердаке в хате такого деда, Мультана. Сторож при замке и, главное, при костеле. Необыкновенно интересный тип. Согнут, как медведь. Охотник немного. Философ.

– Ты это мне для чего?

– Да все в связи с этой тревогой. Мозг ищет. Лихорадочно. Все обстоятельства вспоминает, все самые незначительные происшествия.

Он смотрел в окно на пустырь и на кроны кладбища поодаль.

– Замок тот – обыкновенный дворцово-замковый ансамбль, – словно вспоминая, словно находясь в бреду, начал говорить он. – Разве что один из первых такого рода. Самая середина

XVI века. Может, десятью – двадцатью годами позднее. Уже не совсем замок, хотя и ближе к нему, нежели к дворцу. Страшное здание. Местный валунный гранит, братец, багрово-коричневый с копотью, почти черный. Ну и вода вокруг. А немного поодаль костел с колокольной. Этот более поздний. Начало семнадцатого. И все это вместе что-то гнетущее рождает, тяжелое, мрачное. Ну, как проклятие на нем какое-то, как призраки в нем до сих пор блуждают.

– Книжек начитался, остолоп.

Он внезапно повернулся. Резко. Стремительно.

– Да. И книжек. Представляешь, не у одного меня все это вызывает такое ощущение. У всех вызывало. Всегда. И это не мое, субъективное, а общее ощущение. Вот смотри...

Марьян бросился к стеллажам и, не разыскивая, – видимо, не раз уже смотрел, – достал маленькую пузатенькую книжицу.

– Обложки нет. Какой-то из местных провинциальных романтиков прошлого века. Ясно, что местный, ведь диалектизмы на каждом шагу. И ясно, что пишет по-польски, не сильно и этот язык понимая, а понимая его местный, шляхетский диалект. Р-романтик! Знаешь всех этих авторов «Песэнэк вейских»¹⁵ из-под Немана и Щары» да «Прекрасных Янов из-под Нарочи». Напишет книгу под названием «Душа в чужом теле, или Неземные радости на берегах Свислочи», да и радуется.

Мне тоже стало не по себе. Достойный вклад внесли мы, белорусы, в культуру своего и братского, польского, народов... И все-таки сколько в этом было приятного: наивность, доброта, легкий оттенок глуповатой и искренней чуткости, сердечность. Словом, говоря словами автора «Завальни», «благородные прахи предков». И потом, не будь этих людей, не выросли бы на этой почве ни Борщевский¹⁶, ни поэт-титан¹⁷, от собственной бедности подаренный нами Польше. Пускай спят спокойно: они свое сделали.

Марьян, однако, не был настроен так ласково. Он даже вскипел.

– Черт бы их побрал. Если уж на то пошло, то это они насаждали провинциализм, а не Дунин-Марцинкевич, на которого столько собак вешали из-за этого. Сами и вешали. Да и романтизм наш дурацкий, белорусский, паршивый именно они насадили.

– Паршивый белорусский романтизм и гофманизм мы у них насадили, – возразил я. – Но в чем дело? И почему ты этой кантычкой¹⁸ у меня под носом махаешь?

– Ощущение от Ольшан, – словно осекшись, сказал он и начал читать.

Сто раз с той поры перечитывал я эту легенду, написанную наивным и возвышенным слогом романтика (хорошие они были люди, честные до святости, чистые до последнего, не доносчики, не мерзавцы!). Сто раз вчитывался в строки, то нескладные, а то и совсем неплохие. Даже, для удобства, перевел все это на свой язык, даром что с юности не пачкал рифмами бумагу. Я и сейчас подам ее вам в этом шероховатом переводе. А тогда я слушал ее впервые.

Чёрный замок Ольшанский.

Месяц ныряет в тучах.

Сон окутал во мраке своды башен могучих.

Слушают ветер колкий, волчий вой из долины,

Слушают, как со страха дрожат на стенах осины...

Ух, как тихо и мертво!

Ух, какой мрак глубокий!

Тихо! Ты слышишь в аркадах шагов

¹⁵ ¹ Вейских (пол. *wiejskich*) – деревенских.

¹⁶ Борщевский Ян (ок. 1790–1851) – белорусско-польский писатель, автор написанной на польском языке книги «Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах».

¹⁷ Имеется в виду Адам Мицкевич.

¹⁸ Кантычка (белорус.) – католический молитвенник.

*беззвучных потоки!
Каждую полночь такую в замке, что стынет от страха,
По галереям проходят дама
с черным монахом.*

Дальше был обыкновенный романтический сюжет, для нас уже в чем-то детский. Благородный разбойник из богатого, доведенного до нищеты рода влюбился в жену ольшанского князя. Она тоже полюбила. Князь был скупым и жестоким старым зверем – по всем канонам данного жанра.

Возлюбленные, захватив казну, сбежали из замка. Князь бросился вдогонку и убил. И вот их призраки ходят под аркадами замка, чувственно и трудно вздыхая и пугая стонами добрых людей.

– И что, правда это? – спросил он, закончив.

– А черт их знает, – ответил я, – этих романтиков. Что, была на свете Гражина? Или город на месте Свитязи?

– А тебя ничего не насторожило? – Он пытливо смотрел мне в глаза.

– Насторожило, – согласился я.

– Что?

– Единственная реальная деталь. То, что княжескую казну захватили. Как-то такой поступок с романтической поэтикой не вяжется. А уж с их моральным кодексом – никак, боже мой!

– В-верно! – Он хлопнул меня по плечу. – Умник! Действительно, как на романтика, то это хоть и уродливая, а реалья. А если так, то почему не быть правдой и всей легенде?

– И призракам? – поддел я.

– Призраки тоже существуют на свете, – помрачнел он. – Их больше, чем мы думаем, друг.

Пташинский закурил. На этот раз по-настоящему, затягиваясь. Я тоже вытащил из надрезанной пачки сигарету.

– Так вот, – продолжал он. – Я начал проверять. И самое удивительное: похоже, что наш поэт, несмотря на жанр легенды, не очень и наврал. Постарайся слушать меня внимательно.

За окном лежал серый пустырь с редкими стеблями бурьяна на нем.

– Ты, наверно, не знаешь, что Ольшанские были едва не самым богатым родом в Беларуси. Но только определенный период. Приблизительно сто лет. До этого времени и после него – ну обыкновенная магнатская фамилия, как все. Но в этот век – крезы, которые превосходили богатством самого короля.

– С чего тот век начался?

– С 1481 года. Ну-ка, что за год?

Была у нас такая игра, от которой другой человек посинел бы. Так просто, будто с кручи в воду, задавать друг другу вопросы вроде того, на каких языках была создана бехистунская надпись (древнеперсидском, эламском и вавилонском) или какого цвета были выпушки в инженерных войсках при Николае Первом (красные).

– Кишка у вас тонка, дядька Марьян, – съязвил я. – Это год заговора Михайлы Олельковича, князя Слуцкого, и его двоюродного брата Федора Бельского.

– Верно. И других, среди которых Петро Давыдович, князь Ольшанский. Что дальше?

– Ну-ну, хотели они великого князя Казимира смерти предать и самим править страной. А если уж не повезет, так поднять край и держаться до последнего. А если и этого не получится, то со всеми своими владениями от княжества «отсесть» и искать подмоги у Москвы.

– Да. И чем это закончилось?

– Заговор раскрыли. Полетели головы. Кого в темнице придушили, кого на плахе при факелах, кого, из менее знатных, на кол. Сотни жертв из тех людей, которые возжелали само-

стоятельности. Бельский Федор Иванович, бросив все, сбежал в Московию к Ивану Третьему и принес ему в «приданое» «северские земли».

– А другие земли куда подевал? – иронически спросил Марьян.

– Ну не в кармане же унес. Бросил.

– Вот оно как, – размышлял Марьян. – Коля, плахи, дыба. А кто из главных заговорщиков остался?

– Вали.

– Ольшанский остался. Один из всех. Один из всех, которому ничего не было. Наоборот, осел в поместье крепко, как никогда. Почему?

– Могущественный был. Боялись. Род княжеской крови и с королями повязан не раз.

– Глупость. Не посмотрели бы.

Он отбросил книжку на стол. Молча мы сидели друг против друга. Наконец Марьян провел рукой по лицу, словно умылся.

– И именно с этого года начинается невероятное, просто неудержимое, фантастическое накопление богатства рода. Тысяча и одна ночь. Сокровища Голконды и Эльдорадо. Дарят города. Встречая великого князя, одевают в золото тысячи шляхтичей и крестьян. Листовым золотом обивают замковые кровли. Словом, все, на что способен был человек, внезапно обогатившийся.

– Снаружи как будто культура, а изнутри...

– Дикарство? – спросил Марьян. – Нет. Здесь тоньше. Считай: только-только к настоящей власти дорвались. Над душами, над телами, над государством, наконец. С Всеславом Чародеем не слишком поспорил бы... А тут... Ну и отказали сдерживающие центры. Отказали, как у всех свежеиспеченных панов над всем, хоть многие из этих, свежих, и веками свой род волокли, но на правах... ну, дружинников, что ли. И вот началось: снаружи гуманисты, снаружи утонченные, а внутри – тигр.

– Тут ты, по-моему, ошибаешься, – возразил я. – Острожских вспомни, Миколу Радзивилла, Сапегу Льва. Настоящие, образованные, сдержанные люди, пускай себе и страстные.

– Внешний это разлад, – настаивал Марьян. – Понятно, что в массе это не двор Чингисхана и не опричный двор. Все-таки на глазах у Европы, зачатки гласности, зачатки демократии, пускай шляхетской. *Noblesse oblige* ¹⁹. Но ломки хребтов и тут хватало.

– «Время всегда таково, каковы находящиеся в нем люди», – процитировал я кого-то. – Но ты все-таки гони сюжет.

– Ну и вот. И внезапно каких-то там сто лет спустя всей этой роскоши – крес ²⁰! Хватит – без меры гулять, хватит – листового золота, хватит – отрядов в парче! Обычный со средним богатством род. В чем дело?

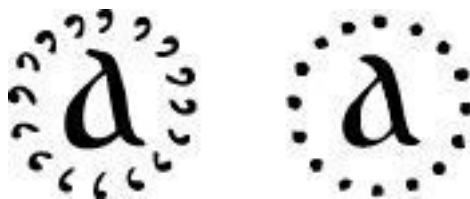
– Этого мы никогда не узнаем, – сказал я. – Мало ли что там могло случиться. Ну, скажем, первое, – это Петро Давыдович, хоть и могущественный, побаивался все-таки, что припомнят участие в заговоре, и решил богатство это промотать, пожить на всю катушку. И наследники проматывали. А когда промотали, так и успокоились.

– Д-да, – как бы согласился Марьян. – Ты знаешь, что это за знаки и что обозначают?

На клочке бумаги он вывел следующее:

^{19 1} Положение обязывает (*фр.*).

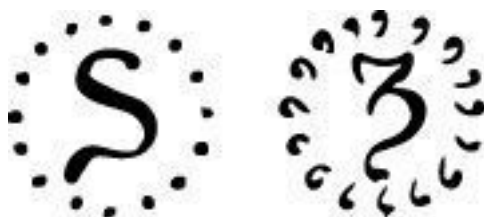
²⁰ *Крес* (*с пол.*) – конец, межа.



– Ну, ты меня ребенком считаешь? Это числовые знаки букв. Первая – легион, или сто тысяч, вторая – леодор, или миллион.

– Ну а так?

И он написал еще и такое:



– Ну, шестьсот тысяч, ну, семь миллионов.

– Так вот, ответь ты мне теперь, дорогой ты мой лоботряс, Антон Глебович, каким таким образом мог человек, даже самый могущественный, нажить за полгода богатство в шестьсот тысяч золотых да на семь миллионов драгоценными камнями – это согласно тому подсчету, согласно тому, когда и вправду «телушка-полушка» была, – и каким образом он, даже если бы ел то золото – и наследники его ели, – мог за каких-то сто тридцать лет такой капитал промотать? А они ведь каждый год и доходы фантастические к тому же имели.

– Возможно, знал о казне заговорщиков и прибрал ее к рукам.

– А может, выдал? – спросил Марьян.

– Такое о людях просто, без доказательств, нельзя брякнуть. Хоть бы они и гнили уже в земле триста лет. На то мы и историки.

– Гм. «История, та самая, которая ни столько, ни полстолько не соврет». Сгнил он только не в земле, а в саркофаге Ольшанского костела. Там на саркофагах статуи каменные лежат. Такая, брат, лежит протобестия, с такой святой да божеской улыбочкой. Сам увидишь.

– Чего это я вдруг «увиджу»?

– Когда захочешь – увидишь. Ну вот, а насчет исчезновения – вспомни балладу этого... менестреля застенкового²¹.

– Выдумка.

– Во многих выдумках имеется запах правды. Я искал. Искал по хроникам, воспоминаниям, документам. Тут не место их называть – вот список.

– И докопался?

– Докопался. Тебе говорит что-нибудь такая фамилия – Валюжинич?

– Валюж... Ва... Ну если это те, то Валюжиничи – древний род, еще от «своих» князей, тех, «до Гедимины». Имели земли в Полоцкой земле, возле Минска и северо-западнее его. Но к тому времени все реже упоминаются в универсалах и хрониках, может быть, обнищали, утратили вес. Судьба, вообще-то, обычная. В семнадцатом веке исчезают.

²¹ Застенковый – от белорус. *засценак* – вид небольшого сельского поселения, которым владела мелкая шляхта. Отсюда выражение «застенковая (мелкопоместная) шляхта».

– Молоток, – с блатным акцентом похвалил Марьян. – Наковальной будешь. Ну, а последний всплеск рода, а?

– Погоди, – вспоминал я. – Гомшанское восстание.

– Ну-ну, – подначивал он.

– Гримислав, Андреевич, кажется, Валюжинич. 1611 год. Знаменитый – «удар в спину». Черт, никак я этих явлений не связывал.

– А между тем Гомшаны от Ольшан – не расстояние. Да, Валюжинич. Да, две недели боя без перерыва да потом с год лесной войны. И на крюк повешены, и на кол вскинuty. Да, знаменитый «удар в спину», о котором мы так мало знаем.

– Невыгодно было писать. «Изменники». И в такой момент! Интервенция, война. Последующие события, может быть, и заслонили, затерли все... Сюжет, Марьян!

– Невыносимый ты, – возмутился он.

– От любопытства сгораю. Не тяни.

– Ну вот. И подсчитал я, дорогой мой, по писцовым книгам и актам, что за эти годы, учитывая и доходы с усадеб, наследники, несмотря на все безумства, ну никак не могли потратить более трети приобретенных сокровищ. Это при самом что ни на есть страшном, «радзивиловском», мотовстве. И вот в год бунта Валюжинича княжит в Ольшанах Витовт Федорович, пятидесяти семи лет, а жена у него – Ганна-Гордислава Ольшанская, двадцати пяти лет, а в девичестве княжна Мезецкая. И княгиню эту страшно укоряет в своем послании бискуп²² Кладненский Героним за презрение княжеского и женского достоинства, а главным образом за то, что враги Княжества Великого пользуются для встреч тайных с ней одеждой мнихов.

– Действительно, ужас какой, – прокомментировал я. – «Дама с черным монахом».

– И паршивый белорусский романтизм, – продолжал Марьян. – Вот, представь себе такую мою гипотезу. Все разгромлено. Спасения нет. Всюду шастают шпики. Сподвижники на кольях хрипят. И во всем виноват с самого начала князь Витовт Федорович Ольшанский. Ему на откуп было отдано Кладненское староство. Он греб неприглядно и еще много денег содрал с него в свою пользу. Из-за него теперь людей вешают. А жена его, как и в балладе, – ангел. Что, не могли они ту казну, сокровища те, забрать и сбежать? Чтобы хоть часть награбленного отдать жертвам?

– Гипотезы, – согласился я. – Откуда тот поэт мог знать?

– А ты подумал, сколько архивов, семейных преданий, слухов, легенд, наконец, могло исчезнуть за сто с лишним лет? С войнами, да пожарами, да революциями? Определенно, что-то знал.

Он опять закурил. Не следовало ему делать этого.

– И вот в 1612-м, – он выпустил дымовое кольцо, – этот человек, этот «мних» исчезает. Самое любопытное, что исчезла и она. Либо бежали, либо убиты были, кто знает? Скорее всего бежали. Ведь вот показание копного²³ судьи Станкевича, что погоня княжеская была, ибо те будто бы захватили ольшанские сокровища, но он, Станкевич, повелением своим погоню ту прекратил и гнаться, под угрозой казни от короля, не дал. Может, другой какой-либо загон князя догнал беглецов и убил? Нет. Вот в том же копном акте клятва Витовта Ольшанского на Евангелии, что не убивал и нет крови на его руках и что после последней его встречи с ними, когда выследил, как сбегали они из Ольшан, такие и такие свидетели знают, что были они еще две недели спустя живы... А между тем следы их исчезли. Ни в каком городе, включая Вильно, Варшаву, Киев, – следов их нет.

– Ну, мало ли что! Тихо жили, вот и нет. Хотя попробуй ты проживи тихо с таким богатством.

²² Бискуп (белорус.) – архиерей, в основном католический епископ.

²³ Копный суд – суд сельской или городской общины в средневековой Беларуси.

Вдруг какая-то мысль стукнула мне в голову:

– погоди, а зачем там было быть копному судье Станкевичу, человеку из рода белорусских шерлок-холмсов, потомственному сыщику? Почти ведь ни одного шумного дела не было в шестнадцатом – семнадцатом веках, чтобы его кто-то из Станкевичей не расследовал. Вплоть до знаменитого Дурыничского убийства.

– То-то и оно. Как раз во время исчезновения беглецов король назначил Станкевича на ревизию поместий и прибылей князя Ольшанского.

– И...

– И ревизия эта закончилась ничем. Все сокровища исчезли. Исчезли захватившие их. Исчезли все книги расчетов, документы, даже родовые грамоты. Все исчезло. Племянникам князя Витовта пришлось их заново выправлять. А из-за этого над ними позже очень смеялись и, если хотели поиздеваться, сомневались, такой ли уж в самом деле древний их род, не вписали ли они себя сами в разные там привилегии и книги. А у них и сказочного богатства дяди не осталось, чтобы хоть роскошью заткнуть рты, замазать глаза.

– Племянники? Почему? И неужели следствие то не докопалось?

– Да, не докопалось. Да, племянники. Ведь через год после начала следствия князь Витовт Ольшанский внезапно, «скорым чином», умрет.

Мы молчали. Слякотный день за окном начал тускнеть.

– Но почему следствие? – спросил я.

– Вот и я думаю почему.

– Всплыли события столетней давности?

– Кого они интересовали? Даже если было какое-то преступление, так что, внуку отвечать за деда? Сто лет спустя?

– Могли позариться на деньги. Казна государственная была пуста.

– Ерунда. Подать бы новую лучше наложили.

– Так, может, на откупе князь проворовался?

– Тоже никого не интересовало. Уплатил сразу всю сумму, получил староство в аренду, а там кому какое дело, даже если бы ты и трижды столько выбил с жителей.

– Может, дело восстания? Связь этой... Мезецкой урожденной с предводителем?

– Ольшанского касалось дело. Мезецких трогать бы не стали. В 1507 году какая-то прабабушка нашей героини была «сердцем и душой» великого князя Жигимонта. И с той поры – весьма приближенные к королям, весьма доверенные люди.

– Так, может, расследовали исчезновение княгини Ганны?

– Позже она исчезла. Следствие уже с месяц шло. Вишь, сколько версий: старый заговор – откуп – события восстания и то, как они отразились в семье князя.

– А может, и то, и второе, и третье.

– Может быть. Вот и занялся бы. Займись, а? Вот тебе и тема для очередного расследования.

Святая Инесса смотрела на меня, умоляюще сложив руки. Я не мог отказать ей.

– Подумаю, – сказал я. – Но послушай, Марьян, какая же может быть связь между событиями тех времен, да еще разделенных меж собой целым веком, между этой книгой из Ольшан, давно заброшенной, никому не нужной, кроме музея да таких, как мы с тобой, и тем, что какие-то барыги от художественного бизнеса звонят тебе, ходят под окнами и так далее. Может, и под окнами совсем не те, звонившие?

– Может. Но тревога такова, что вот-вот умру. Предчувствие какое-то. Вот говорит сердце, и все.

– Говорит, потому что больное. Ты что, прежде таких припадков беспричинного страха не ощущал?

– Это не то. Это не от сердца. Это глубже. Словно у собак перед пожаром.

– Так обратиться в милицию, как я тебе советовал.

– Чтобы сумасшедшим посчитали?

– А ты успокойся. Хватит себя рвать на клочки.

Я встал. Надо было идти домой. И тогда Пташинский словно внутренне засутился. Начал трепать темные волосы. Глаза стали беспомощными.

– Ты, знаешь что...

Он взял старую книгу и протянул мне.

– Знаешь? Вот... Возьми с собой... Они...

– Какие они?

– Не знаю. Они. Они не подумают, что я такую вещь мог выпустить из хаты. Спокойнее будет. Спрячь хорошо. Я иногда буду заходить. Мнениями обменяемся. Вместе будем рассматривать.

– А над чем же ты думать будешь?

– У меня очень хорошая фотокопия. Я, чтобы книги не трепать, по ней работаю. К тому же я палеограф похуже, чем ты. А ты – посмотри. В чем там дело?! На вот портфель. Можешь у себя оставить.

Портфель был объемным. Даже такая большущая книга спряталась в нем и еще осталось место.

Я собрался было идти один, но увидел, что Пташинский натягивает пальто. Когда он брал на поводок собак, я было возмутился:

– Это еще зачем?

– Молчи, Антон. Надо.

Он дал мне еще одно основание для удивления. Заскочил в ближайший «Гастроном». Собаки, конечно же, остались со мной, люто шарили глазами вокруг. Я думал, что он вынесет бутылку. А он вынес три. Одну, как положено, с вином, а две... с кефиром.

– Марьян, – напомнил я, – я ведь его терпеть не могу. Это ведь какая-то глупая придумка. Мне ведь молоко бабка носит, я ведь сам простоквашу делаю, нашу, деревенскую. Мне ведь от этой кефирной кулаги блевать хочется.

– Вылить можешь, – сказал он, засовывая бутылки в портфель, чтобы рыльца торчали наружу. – Простокваша! Устоявшиеся привычки старого кавалера!

– Маскарад? – с иронией спросил я. – Одурел ты, Марьян, впадаешь в детство, сукин сын.

– Ладно, – прошептал он и взял поводок, – ты себе ступай. Иди. Топай.

Тревога его, как ни странно, передалась и мне. Знал – чепуха. А не тревожиться не мог.

...Возле моего подъезда Пахольчик высунулся из табачного киоска.

– Бож-же ж мой, собаченции какие! Звери! А что бы то могла быть за порода, то сказали б вы мне уже?!

– Тигровые доги, – буркнул Марьян.

– Ай-я-яй, что то бывает! И тигра и собака! И скажите вы мне, как это их повязывают? Тигра хоть и большой, а кот. Как же он с собакой?

– Силком, – ответил Марьян.

– Дрессируют, – и тут же мне стало жаль старика: – Это просто масть у них такая, тигровая. Шутим мы, дядька Герард.

– Ну, бог с вами. Шутить не грех. Гляжу, прогулялись вы сегодня, румянец здоровый. И хорошо, что кефир на ночь пьете. Здорово это – кефир.

– Еще бы, – согласился я. – Да с вином в придачу.

Мы вошли в подъезд.

Глава IV

О женщине из прошлого, абелей в отставке и о том, как чтение Евангелия не принесло никакой пользы, кроме моральной



Когда Пташинский ушел, я вспомнил, что уже три дня не могу дописать письма отцу. Совсем замаялся с этой книгой. И письмо это несчастное давно уже было написано, но тетя Марина всегда обижалась, если я не дописывал лично для нее хоть несколько строк. Человек она была пожилой, с капризами.

Я решил сбросить наконец с плеч эту обязанность. Достал еще один лист и, помолившись Богу, чтобы только не обидеть неосторожным словом, начал писать.

«Мариночка, тетенька! Ты ведь у меня знаешь, как мне трудненько писать, какой я бездельник. Другое дело звонить, но звонил я и не дозволился. Впоследствии только проведал о Койдановской свадьбе и что вы там были. Затосковал я по тебе и отцу. Если уж он забыл все слова, кроме «запсели они, сидя в городе» и «приезжай, половим рыбу», то хоть ты бери «лахі пад

пахі»²⁴ и приезжай ко мне. Как получишь письмо, то чтоб завтра я тебя увидел. Поговорим, в театр на новую пьесу сходим. Невероятно интересно! А то боюсь, вдруг случится что, пошлют куда-либо, и тогда до лета не жди. Правда, возьми и прикати. У тебя ведь сейчас есть время. Заодно я додумался купить вам кое-что. Приезжай, скажем, 12-го, в 11 часов поездом. И не ожидай долго. Подъеду с машиной. Правда, в чем дело? Давай телеграмму, если приедешь немного позднее. А то у вас с утра работа, и днем, и вечером работа. Я вас знаю.

Дела мои с новой книгой пошли на лад. И так внезапно произошло все! Помогли рецензии, дай бог здоровья Петровскому и Клецкину. Так что, разрешите доложить, целую тебя нежно и остаюсь твой учтивый племянник Антон».

Ф-фу-у! Вот ведь и люблю я тетю, и разговаривать с ней одно наслаждение, а писать эти слова, которые сказал бы устно, – зарез.

Я отложил письмо, потушил настольную лампу. Опять перелистал «Книгу» Пташинского, и вдруг дошло, что не стоит ее оставлять на глазах.

Словно подозрительность Марьяна заразила и меня. Поэтому я взял тяжелый том и понес к секретеру.

У меня мало старых вещей, не то что у Марьяна, но даже он завидует моему секретеру. А я горжусь им. Самое начало XIX века. Варьированный местным крепостным мастером до неузнаваемости ампир. И вариации эти сделали ампир, если это только возможно, еще более благородным. Строгие формы, продуманность каждой детали, рассчитанное удобство и красота. Черное дерево и самшит, очень скупой инкрустированный матицей. И только отбросишь доску – предстает перед глазами радуга: бабочки над стилизованными полевыми цветами. Сколько я помучился, пока, едва ли не с груды хлама, восстановил его.

Но главное не это. Главное – тайник, который я сам случайно нашел только около года назад. Вот нажимаешь на пластинку возле замка, подаешь ее вперед, а потом налево, и поползла в сторону задняя стенка отделения для бумаг. А если при этом нажать на среднего мотыля – откроются боковые тайники, очень вместительные.

Там можно прятать письма, документы и все такое. Туда я сейчас положил книгу Марьяна. Не надо, чтобы ее видело большее количество людей, чем это необходимо. Ну и потом, у меня «увели» достаточно много книг. От «Сатира» Кохановского до «Вина из одуванчиков» Бредбери. «Увели» даже белорусский том «Живописной России», несмотря на гигантские размеры. Если кто-то «одолжит» и это – будет плохо. Как тогда смотреть Пташинскому в глаза и у кого свои глаза одолжить. А таких желающих на «позаимствование без срока» у нас все больше и больше. И даже суда на них нет, гадов.

Я спрятал книгу, закрыл тайник. И хорошо сделал. Так как сразу залился дверной звонок и явилась «моя бывшая любовь» Зоя Перервенко собственной персоной. Явилась, после того как два месяца носа не казала, и я уж думал, что не зайдет никогда.

Пока я ставил на столик бутылку «Немеш кадара», яблоки и еще кое-что, пока включал нижний свет и тушил верхний, мы обменялись не более чем десятком стандартных предложений: как жизнь, что там до чего, как со здоровьем (это в ее двадцать восемь!). И только после первого бокала я сказал:

– А я думал – все.

– Оно и есть все. Нечего тянуть дальше, если ты такой уж честный.

Честный не честный, но я, когда в первый наш вечер вся компания ушла от меня, а она осталась, и не ушла до утра, и потом оставалась почти каждый вечер на протяжении четырех

²⁴ Вещи под мышку, т. е. пожитки (белорус.).

месяцев, я тогда, ей-богу, не знал и даже подумать не мог, что она замужем. Наоборот, из этого ее поведения несомненно следовало, что она одна. Черт бы побрал этих мужей, которые ездят на семь месяцев в экспедиции, да еще туда, куда даже несчастный Макар не гонял своих не менее несчастных телят.

Выплыло все лишь тогда, когда я предложил ей поехать на юг, а потом подумать и о чем-то более «серьезном». Тут она мне обо всем и рассказала и как это лучшее, «серьезное», предложила порой заходить даже тогда, когда вернется муж. Я только крякнул. И, может быть, даже и согласился, так как успел хорошо привязаться к ней. Но было нельзя. Ведь самым величайшим моим свинством во всей этой истории было то, что я прекрасно знал ее мужа, Костика Красовского. Чудесного парня, верного друга моим друзьям, широкого, независимого, душу всякой компании, любителя погулять, честнейшего палеонтолога и добрейшего человека. Такого обидеть – это повеситься потом надо.

И я начал отдаляться, хоть, ей-богу, дорого мне это стоило.

Яркая блондинка, глаза густо-синие и холодные, дивно изогнутый сочный рот, престройная шея, изящные ручки, тело, говорящее само за себя, – от высокой груди до ног, которые уже сами по себе как мечта каждого мужчины.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.